

Надель-Червиньска М.  
Катовице, Польша

ДВЕ РОССИИ ГЛАЗАМИ  
«ДАЧНИКА С 1918 ГОДА»,  
ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

УДК 821.161.1

**Аннотация.** В статье параллельно рассматриваются, в контексте русской ментальности, дискурсы политический и поэтический, отражением которых служат, в частности, тексты И. Северянина. Для поэта, представителя вынужденной эмиграции, существуют две России и два взгляда на эту страну – изнутри и снаружи.

**Ключевые слова:** русская ментальность, политический дискурс, контрасты России, экспрессивная оценка, стихотворный текст, Игорь Северянин.

**Сведения об авторе:** Надель-Червиньска Маргарита, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка института восточнославянской филологии.

**Место работы:** Силезский университет.

**Контактная информация:** E-mail: tab570@gmail.com

ГСНТИ 16.21.27, 16.21.33

Nadel-Chervinsky M.  
Katowice, Poland

TWO RUSSIAS BY EYES  
OF «SUMMER-REZIDENT SINCE 1918»,  
IGOR SEVERYANIN

Код ВАК 10.02.01

**Abstract.** In the article there are examined in parallel, in the context of Russian mentality, two discourses – political and poetical, reflection of which it is served, in particular, I. Severyanin's works. For the poet, the representative of enforced emigration, there are two Russias and two views on this country - inside and out of it.

**Key words:** Russian mentality, the political discourse, contrasts of Russia, expressive appreciation, poetical text, Igor Severyanin.

**About the author:** Nadel-Czerwińska Margarita, candidate of philology, associate professor of the chair of Russian language of institute of east philology.

**Place of employment:** University of Silesia.

На первый взгляд, анализ политического дискурса поэтического творчества Игоря Северянина кажется подходом абсурдным. Именно неприятие реальной жизни заставило русского поэта-эксцентрика провозгласить себя в начале XX века *эго-футуристом*. Именно оно уводило Северянина в мир несбыточных грез – мир, погруженный в волны задумчивой музыки, аромата цветов, в скользящие тени удивительных женщин и прозрачных литературных ассоциаций.

Однако, в отличие, допустим, от символистов, акмеистов и имажинистов, северянинские произведения даже начала его творчества пестрят приметами своего сложного времени, пусть неравномерно, избирательно, но очень точно и метко называя детали и признаки реального российского бытия. И это, видимо, приводит мечтателя-индивидуалиста в шумный лагерь Д. и Н. Бурлюков, М. Маяковского, А. Крученых, В. Каменского, В. Кандинского и других не менее демонстративных и оригинальных личностей, защищавших свободное искусство и звонко раздававших пощечины общественному вкусу в России до 1917 года.

А оттого все «новое» виделось неизбежным, близким и радужным, причем в нем, новом будущем такого прекрасного далека, обязательно должно было найтись множество места – для индивидуального творчества каждого, для Больших Поэтов и Розовых Слонов. Эта самая тяга к бескрайним просторам и свободе самовыражения толкала футуристов колесить по России. А с ними трясясь в неудобных вагонах довольно странный, немолодой, разочарованный жизнью поэт, слывущий в той же России певцом житейского комфорта, аристократической роскоши, беспочвенных мечтаний и сексуальных утех, т.е. всего того, чего у самого

Игоря Васильевича Лотарева в реальности никогда, возможно, и не было.

Назовем этот своеобразный феномен русского ментального бытия парадоксом несбыточности (п1). Парадокс этот свойственен как русскому поэтическому дискурсу, так и русскому дискурсу политическому. В первом случае сразу припоминается много знакомых строк: *Никогда я не был на Босфоре...* (С. Есенин); *Послушай! Далёко-далёко на озере Чад Таинственный бродит жираф...* (Н. Гумилев); *Предо мной золотой аналой И со мной сероглазый жених...* (А. Ахматова); *Здравствуй, правнуков жилище, – И мое, и не мое!..* (И. Анненский); *Я блуждал в игрушечной чащбе И открыл лазоревый гром...* (О. Мандельштам) и т.п. Во втором случае приходит на память множество лозунгов: *Земля – крестьянам! Искусство принадлежит народу. Вперед, к победе коммунизма! Пятилетку в четыре года. За себя и за того парня. Каждому пассажиру – по мягкому месту. Удвоим удои скота. И на Марсе будут яблони цвести...* Последний, впрочем, наглядно показывает, насколько условна бывает грань между поэтическим и политическим, когда речь идет о России после 1917 года...

Конечно, можно сказать, что И. Северянин, в противовес известной идеи добровольного замыкания поэтов в *башне из слоновой кости*, демонстративно, что ему так свойственно, строит в стихах свой собственный дворец *двенадцатиэтажный*. И в этом дворце роскоши и любви он сам предпочитает этаж отсутствующий – *тринадцатый этаж*, где ничто не отгораживает его поэтическое *эго-«я»* от окружающего мира, от мира реального (п1). Здесь все открыто ветрам и *протяжному вихрю*, здесь не спрятаться, не сплутовать сердцем, и ни от кого ничего не скрыть в этом обнаженном ми-

ре и такой же обнаженной душе поэта – ибо обо всем, что делается в этом мире,казалось бы, тайно, на самом деле знает целый свет уже. [Тринадцатая. Север. 1990: 228-229.]

Столь полная открытость и незащищенность внутреннего мира в окружающем пространстве мира внешнего возводится Игорем Северянином – и в этой его «новелле», и в других стихотворениях – в некий фатальный абсолют. И в этом угадываются не только терзания большой человеческой души поэта. Безнадежно оттесняется в прошлое век минувший русской культуры, с дорогими сердцу именами ее корифеев, такими как К. Фофанов, М. Лохвицкая, С. Надсон, К. Бальмонт и другие, к которым так часто обращается автор в поэтических строках. Наступивший несет новое, неизвестное, а потому тревожен ожиданием приближающегося и непредсказуемого. В году 1910-м всего несколько лет отделяет поэта от грядущей войны, затем рокового все всей России 1917-го.

Поэтому северянинская башня принципиально иная, отличная от башни замкнутого элитарного кружка Г. Иванова, Д. Мережковского, З. Гиппиус. Башня, венчающая вычурную дворцовую конструкцию стиха, – это *тринадцатый*, ирреальный и сюрреальный, этаж без этажа, комната без комнаты, это как бы пространство Вселенной собственного поэтического *ego*, открытое ветрам нового XX века. Это пространство, никому не принадлежащее и ни от чего не способное защитить мятущуюся русскую душу, в том числе от *той, кого не знаю и узнать не рад*, оттого и чудится в этих строках нечто пророческое:

Но бывают ночи: заберусь я в башню,  
Заберусь один в тринадцатый этаж,  
И смотрю на море, и смотрю на пашню,  
И чарует гряза все одна и та же:  
Хорошо бы в этой комнате стеклянной  
Пить златистогрезый черный виноград  
С вечно-безымянной, странно так желанной,  
Той, кого не знаю и узнать не рад...  
[Тринадцатая. Север. 1990: 228-229.]

Сопоставив эти две «башни поэтов» и столь рознящиеся концепции их возведения (дискурс поэтический), можно вывести следующие два феномена российского ментального бытия. Первый из них назовем парадоксом самоограничения (п2а; слоновая кость как материал вечный, не поддающийся внешним воздействиям; такая башня надежно изолирует – добровольных ли? – узников). Второй феномен назовем парадоксом аквариума (п2б; все видно, открыто чужим глазам; самому не скрыться, ничего не спрятать, да и нет ничего своего материального; изоляция в пустоте, вакуум человеческих отношений).

Впрочем, уже очень скоро те же самые парадоксы, казалось бы, исключительно поэтических фантазий, характерных для Серебряного века русской поэзии, будут узнаваемы совер-

шенно в ином контексте (дискурс политический). Со скрежетом задвигается *железный занавес* целой эпохи, искусственно переполовиня многие судьбы (п2а). Надежно захлопнутся за многими поэтами *железные двери* камер, присматривающихся через глазок, как *аквариумы* (п2а + п2б; тюремно-лагерный жаргон). А пройдут в России десятилетия и – такое же название получит известная рок-группа: идея *аквариума* останется актуальной (п2б).

Также и через сто лет, по возведении Игорем Северянином *тринадцатого этажа*, с трибуны будут призывать к «транспорантности» и «прозрачности» всего, всех и каждого (п2б). Слишком долго отсутствие «своего» (собственного, материального, жизненно необходимого) навязывалось как добродетель (п2а). Так же, как и полный отказ от сохранения чего-либо «своего за душой» в пользу *коллективизма* и подчинения *общественному мнению*, официально господствующему (п2а + п2б). Коммунистическая *идейность* легко подменяется в этом случае православным *бессребреничеством* (п2а). Россия, давно уже лишенная национальных и религиозных корней, как должное принимает эту новую форму далеко не новой идеологии, в которой воспеваются *нищие духом* и *отказ от материальных благ* (п2а + п2б). В который раз здесь строится «новое» общество по старому, хорошо знакомому, образцу...

Надо отметить, что уже в раннем, эгофутурристическом, периоде творчества поэта Игоря Северянина (Или *Игоря-Северянина*, как предпочитал себя сначала именовать Игорь Васильевич Лотарев, одна из наиболее ярких и неоднозначных фигур *Серебряного века* русской поэзии) образ России удивительно конкретен, точен, выпукло достоверен (п2а + п2б). Заметим, что на этапе экспериментального стихотворчества у поэта этот образ, пожалуй, оказывается единственно реалистичным – несмотря на демонстративно экзотическую фантастичность и почти полную оторванность от реальной действительности витиеватых северянинских поэз, которые похожи на сложную художественную вышивку, разноцветными тонкими шелками по китайскому шелку (п1).

Впрочем, сами ориентальные темы поэта не привлекали, хотя определенная общность стилистической выразительности поэзии Игоря Северянина и великолепной прозы Пьера Лоти, модного тогда в Европе и Петербурге, очевидна. Причем первое (субъективная непривлекательность данной темы) возможно, видимо, потому, что поэт всю Россию воспринимал как *Наш варварский русский Восток* (п2б), который – казалось ему временами, даже еще в 1921-м году, – когда-нибудь, в каком-то отдаленном и туманном будущем (п1), все-таки *Вселенную спасет*. Кто, чем и как – это совершенно не важно, лишь бы «всех спасти», «всем продемонстрировать силу», а за этим чудятся все те же идеологические жупелы: *сильная ру-*

ка, сильная власть, сильная воля, сильная Россия.

Для российской ментальности XX – XIX веков характерно также семантическое равенство **сильный** = **железный**. Это – **железные рука, воля, власть**. Это также – **железные кулак, конь, Феликс; закон, дверь камеры; установки, правила**. Это они создают в том же ментальном – замкнутом – круге (п2а + п2б) печально известное ощущение **железного занавеса**. А **железный век**, как известно, – это век варварства, темный век жестокости и безумия, век **нечестивости и неуважительности** русского поэта. Однако, находясь даже среди озверелых людей, в этот **ужасный век** (п2б), Северянин в 1917-м году пишет следующие строки:

*И в зле добро, и в добром злоба,  
Но нет ни добрых, нет ни злых.  
И правы все, и правы оба,—  
Их правоту поет мой стих.  
И нет ни шведа, ни японца,  
Есть всюду только человек,  
Который под ненужьем солнца  
Живет свой жалкий полувек.*  
[Промельк. Север 1990: 130]

Не то, чтобы в пространстве этого человеческого **ненужья и варварского русского Востока** Игорь Северянин сам чувствовал себя азиатом (этого в стихах не найдем), но воспринимал самого себя отчасти **варваром**, прившим из **варварской страны**, где – обратим внимание! – в замкнутом пространстве варварских (нецивилизованных) отношений на **несчастии другого** **всякий счастье строить прав** (п2а). Абстрактная история реально не осуществимой любви (п1) **королевы Ингрид и Эрика светлоокого, Севера короля**, так же, как и все у поэта, имеет несколько ассоциативных подтекстов – если не в целом как текст, то во фрагментах текста и семантике отдельных знаковых элементов, его составляющих.

Заметим, что достоверная реальность пейзажей в северянинских стихах как бы параллельна с реалистическими приметами и деталями российского бытия (городского, провинциального, сельского), повседневной жизни до переломного 1917-го года. «Городское» и «пропинциальное» при этом становятся у Северянина мишенями резкой и острой сатиры, «сельское» – предмет воспевания. В противопоставленности **выдуманное / реальное** (= **мертворожденное / жизненное**), **искусственное / натуральное** (= **искусство / природа**), **фальшивое / искреннее** (= **истинное / ложное**) узнаваемы и его философско-поэтическое кредо, и прямолинейная негибкость больной души Игоря Васильевича Лотарева.

Это вечная и невыносимая для него проблема выбора, когда приходится жить не **крылато, как орел** (п1), и не как умный человек, **опередивший на столетье век** (п1), а скользя меж двух соединившихся «нельзя» (п2б). [Бле-

стящая поэзия. Север 1990: 57] И когда он говорит в 1907-м о **Человеке, заковавшем свой разум в строгих принципах духа кольчугу**, он имеет в виду также себя (п2а + п2б).

Последнее можно рассматривать либо как двойственность мироощущения Игоря Северянина-Лотарева, либо как болезненное слабоволие, провоцирующее позицию ухода от жизни – от неблагоприятной действительности в мечтания о **красоте**, поэтические **грезы-фантазии** (п2а), ухода из жизни – в мысли о собственной смерти, а также о самоубийстве других (п2б). Тема смерти у поэта, на протяжении всего его поэтического творчества, не раз актуализируется и решение ее неоднозначно. Интересна также в этом контексте северянинская дилемма «жизнь вне России как смерть» / «жизнь в новой России как смерть». Закономерен и вывод «необходимо вернуться в Россию, чтобы там умереть» (п1), но это уже заключительный аккорд в мотиве эмиграции, существовании вне России. Мотив ограничений (соединившиеся «нельзя»; п2а) и мотив отторжения, насилиственного вытеснения вовне, за пределы России (человеческое **ненужье, под ненужьем солнца**; п2б), еще в марте 1918-го года сольются в горькие поэтические строки:

*Мы шли по Нарве под конвоем,  
Два дня под арестом пробыв.  
Неслась Нарова с диким воем,  
Бег от льда освободив.  
В вагоне заперты товарном, —  
Чрез Везенберг и через Тапс, —  
В каком-то забыты кошмарном.  
Всё время слушали по «шнапс».  
Мы коченели. Мерзли ноги.  
Нас было до ста человек.  
Что за ужасные дороги  
В не менее ужасный век!  
Прощайте, русские уловки:  
Въезжаем в чуждую страну...  
Бежать нельзя: вокруг винтовки.  
Мир заключен, но мы в плену.  
[По этапу. Север 1990: 134]*

В принципе, свойственная Северянину жизнеутверждающая позиция – это своеобразная форма индивидуального поэтического аутотренинга, внушение себе и окружающим мысли, что «живь все-таки надо, не смотря ни на что». Для поэта такой активной формой жизни является **сопротивление** (и внутреннее, и внешнее), сопротивление всему тому, что ему пытаются навязать, приписать, заставить принять. Деятельно безвольный (п2а), поэт находит выход и самореализацию все в новых поэтических скандалах (п2б). В 1918-м, говоря о своей **двумысленной славе** как результате **явного вызова условностям** в своих стихах (что для него самого при этом есть не более чем п1), поэт подчеркивает, что его **двумысленные темы** – **двумысленны по существу**:

Во мне выискивали пошлость,  
Из виду упустил одно:  
Ведь кто живописует площадь,  
Тот пишет кистью площадной.  
Бранили за смешины стиля,  
Хотя в смешины-то и стиль!  
Чем, чем меня не угостили!  
Каких мне не дали «pastilles»!..  
[Двусмысленная слава. Север 1990: 136]

Здесь калька с французского *дать «pastilles»* соответствует русскому фразеологическому варианту *преподнести пиллюлю комунибудь*, в значениях «доставить неожиданную неприятность; сделать или сказать какую-либо гадость, неприятность; поставить публично в ложное положение; доставить пренеприятные минуты». Поэт относится к этому философски, с насмешкой: *Но даровав толпе холопов // Значенье собственного "я", // От пыли отряхаю обувь...* [Эпилог. Север 1990: 171]

Однако холопы в стихах И. Северянина не крестьяне и говорят, так им *боготворимый*, а неумные салонные льстцы, у которых в душе – осколки строф *Мюссе*, а на лице – обидное бездущье (п2а). Что до того, что скажет *Пустота под шляпками, цилиндрами и кепи?* – для поэта вопрос не столько риторический, сколько наболевший и острый (1910). Поэтому *площадность* (п2б) есть для него прежде всего обобщение того, что ему претит в современной ему России – пустословия и фразерства, лживости и фанфаронства, примитивности и глупости, отсутствия чувств и глубокого ума. И это обобщение он демонстративно, а с его точки зрения – *площадно*, оформляет в эпатажность своих поэз, направленных против тех, кто им истового аплодирует на *поэзоконцертах*. Для него самого это *рифмы-кукиши*.

Приведем лишь несколько таких опусов:

...лучат волосблонды зло-спецной Эскламонды... (1914); ...И ея сиятельство Навела лорнет На природу, ставишу Срète d'épine vinette... (1914); ...Экстравагантно выпускает лиф, Лорнирует базарно каждый смокинг... При этом всем – со вкусом носит титул, Иной щеке даря свою ладонь. (1911); ...И что тут прелесть? и что тут мерзость? Бесстыж и скорбен ночной пунт. Кому бы бросить наглее дерзость?.. (1911); Лакей и сен-бернар – ах, оба баритоны! – Встречали нас в дверях ответом на звонок. Камелии. Ковры. Гостиной сребротоны. Два пуфа и диван. И шесть бесшумных ног... (1914).

Площадность стиха, площадность зрелищ и публичных выступлений – то, что роднит Северянина и Маяковского по-настоящему, не из простого позерства.

И так современно звучат северянинские стихи 1913-го года, воистину *опередив столетье на век* в который раз: и разве это написано, в определенном смысле, не про современную «гламурную» *оффаченную* Москву?.. Русский «гламур» – это звучит так по-северянин-

ски, как осталное новейшее словотворчество столичного бомон(д)а:

В смокингах, в шик опроборенные, великосветские олухи

В княжьей гостиной наструнились, лица свои оглуши:

Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказно о порохе.

Скуку взорвал неожиданно нео-поэзныи мотив.

Каждая строчка – пощечина. Голос мой – сплющ издавательство.

Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассоцанс.

Я презираю вас пламенно, тусклые Ваши Сиятельства,

И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!..

[В блесткой тьме. Север 1915: 14]

В 1926-м Северянин о себе напишет: ...Он – в каждой песне, им от сердца спетой, Иронизирующее дитя. И еще следующее, очень для него важное и определяющее:

Он тем хороши, что он совсем не то,

Что думает о нем толпа пустая,

Стихов принципиально не читая,

Раз нет в них ананасов и авто...

[Игорь Северянин. Север 1990: 92]

Отвергая, в частности, *бархатную сказку*, которой лишь *сердца друг другу ранили* (п1), поэт погружается в реальную, но не менее *ранящую* его, действительность и строки его «Секстины» в январе 1910-го во многом уже звучат для России пророчески: 1) *Бодрись, народ: ведь не один во тьме ты, – Мы все во тьме – повсюду и везде.* (мотив затемненного разума, необразованности и всеобщего безумия; п2а) 2) *И ты, мужик, твердиши везде, везде, Что близок час...* Так *предрешил во тьме ты.* (мотив неизбежного возмездия и, одновременно, конца света – как мотив Апокалипсиса; п2б) 3) *Они – костры, но те костры – везде...* (мотив инквизиции, в прошлом, настоящем и будущем; п2б) 4) *Народный гений, замкнутый в нужде...* (мотив нищеты, материальной и вынужденно духовной; п2б) 5) *Я вижу смерть, грядущую в звезде...* (мотив приближающейся смерти; п2а + п2б) 6) ...*смерть везде! Она грядет, она уже везде!..* (мотив апокалиптический; п2а + п2б) 7) *Крылю привет карающей звезде – Она несет конец земной нужде...* (мотив заслуженной кары и возрождения к новой жизни; п1). Но когда изгнаник И. В. Лотарев столкнется с реальным множеством смертей (от красного террора) и умиранием духа (в вынужденной эмиграции русских интеллигентов), поэт Игорь Северянин откажется от воспевания абстрактного Культа Смерти, что было особенно свойственно ему в начале творческого пути:

Скелетом черным перелесец

Пускай пугает: страх сожну.

Люблю октябрь, предснежный месяц,  
И Смерть, развратную жену!..  
[Октябрь. Север 1990: 24]

До исторической черты 1917-го года важным моментом в контексте восприятия России как противопоставленности для И. Северянина свое (= приемлемое) / несвое (= неприемлемое), мое (= личное) / чуждое (= чужое) стало участие страны в Первой мировой войне. После черты 1917-го, февральской, а затем октябрьской революций, – *приятие / неприятие* того, что происходит и делается вокруг, т. е. *приятие / неприятие* новой российской действительности – новой власти (железного кулака и железного Феликса), новых порядков и новой, не знакомой ему раньше, ментальности. И обличительная северянинская сатира в 1919 году, сатира на «новую» Россию, обретает поэтому особую силу слова (п2а + п2б):

Правительство, влекущее в строй армий  
Художника под пушку и ружье,  
Напоминает повесть о жандарме,  
Предавшем палачу дитя свое.  
Правительство, лишившее субсидий  
Писателя, вошедшего в нужду,  
Себя являет в непристойном виде  
И вызывает в нем к себе вражду.  
Правительство, грозящее цензурой  
Мыслителю, должно позорно пасть.  
Так, отчеканив яркий нимб цезурой,  
Я хлестко отчеканиваю власть.  
А общество, смотрящее спокойно  
На притесненье гениев своих,  
Вандального правительства достойно,  
И не мечтать ему о днях иных...  
[Поэзия правительству. Север 1990: 147]

Следует оговориться, что тема России для Игоря Северянина всегда была и остается до конца его дней темой больной – больной, в своей субъективной незавершенности и объективной неразрешенности. Не по своей вине и по чужой воле (О своей принудительной «эмиграции» он сам не раз говорил: «Я дачник с 1918-го года!..», поскольку ему не разрешили вернуться в Петербург из эстонской деревни, где Северянин с женой отдыхали каждое лето) оставшись за пределами родины, поэт двойственно переживает свою с ней связь, а также двойственно переживает и вынужденный разрыв. И, где бы он ни находился, внутри России, до лета 1918 года, или затем вне ее пределов, его отношение к этой стране всегда неоднозначно, что хорошо прослеживается в северянинских стихах.

Поэтому нельзя не согласиться с тем, что замечает один из немногих исследователей творчества поэта, В. Греков: «Правильнее было бы сказать, что весь поэтический мир Игоря Северянина изначально двойственен. Поэт как бы взвешивает на весах добро и зло: *И в зле — добро, и в добром — злоба*» [Северянин 1990:

11]. Из-за той же двойственности поэтического мироощущения и В. Брюсов в своей статье 1916 года «Игорь Северянин» [Брюсов 1975: 451] отмечает следующее: «...Не всегда легко различить, где у Игоря Северянина лирика, где ирония. Не тогда ясно, иронически ли изображает поэт людскую пошлость, или увы! сам впадает в мучительную пошлость». Но еще раз присоединимся к мнению Грекова – «внимательный читатель отличит стилизацию под пошлость от самой пошлости, лирического героя от самого автора, который прячется за своим героя с иронической усмешкой» [Северянин 1990: 6].

Одной из сторон такой двойственности северянинской поэзии является свойственная его стихам *полемичность*, нередко слишком эмоциональная, иногда даже чересчур субъективная. Так, в стихотворении 1907 года поэт о России пишет [Здесь и далее поэтические тексты цитируем по кн.: Северянин 1990]:

...А знаешь край, где хижины убоги,  
Где голод шлет людей на тяжкий грех,  
Где вечно скорбь, где лица вечно строги,  
Где отзвечал давно здоровый смех,  
И где ни школ, ни доктора, ни книги,  
Но где — вино, убийство и... вериги?..  
[Ты знаешь край? Север 1990: 20]

Эти строки представляют собой ответ на вынесенную в эпиграф цитату из А. К. Толстого: *Ты знаешь край, где все обильем дышит?* Поэтизация родной земли здесь так же узнаваема (п1), как советские яблони, цветущие на Марсе, – это то, что хотелось бы повсеместно видеть, то, что не раз реализовалось Северянином в его поэзогрезах.

Однако родной край, каким видит его Северянин в преддверии будущих *ананасов в шампанском, ветропросвисте экспрессов и крылопете буеров* (п1 + п2б), нищ, уныл, погружен в безнадежность (п2а). Здесь, в 1908-м, обитают *жалкие темные люди*. [Бледнел померанцевый запад.... Там же: 26] А годом позже поэт восклицает:

И хочется мне крикнуть миллионам  
Нездарностей, взращенных в кабаке:  
«Приличней быть в фуражке почтальоном,  
Чем лириком в дурацком колпаке».

Увы, собратья по перу любочно вдохновенны, большинство из лириков — без лиры, // И песни их звучат не из груди... [«Собратья». Север 1990: 31] Пишет он также о живущих в этой стране следующие строки:

Они способны, дети века,  
С порочной властью вместо прав,  
Казнить за слабость человека,  
Стихийно мощь его поправ.  
[В защиту Фофанова. Север 1990: 34]

На одиночество в России, к сожалению, обречены и маленький человек, и одаренная лич-

ность (п2а + п2б). Второму из них здесь остается лишь ... умирать

*За лиры изгородью струнной  
С проклятьем злобе и ... добру,*

поскольку в этой стране

*Паяц над миром правит суд.  
[Там же. Север 1990: 34]*

Эти строки воистину пророческие – до сих пор Россия не избыла своих державных паяцев. Не удивительно, что Игорю Северянину, как и любому мыслящему человеку в России (чему в русской литературе мы находим множество примеров), свойственно мучительное ощущение собственной *ненужности*, как сейчас бы сказали – «невостребованности» (п2а + п2б). Но он не знает дороги туда, // Где смеется продажная лесть. [Я не лгал. Север 1990: 37]

Лживость и неискренность, свойственные русскому обществу в целом, как в высоких его кругах, светском и политическом, так и в изысканных салонах, обирающих в своих стенах людей «околоторческих», так называемых «талантов и поклонников», всегда претили поэту (п2а). Ведь сам он стремился, как это ни парадоксально звучит применительно к И. Северянину, к простоте проявлений и чувств, незамысловатости деревенской жизни, близости с природой (п2б + п1).

Как часто в поэтических строках поэту хочется просто углубиться в лес (п2а), оставаться одному (п2б), наедине с собой либо с близким любимым человеком! Но в стране лживых *посулов напоказ* (п1; со знаком «минус») не только бесшабашно гульливы души (п2б), а и бездумно вырубают леса (п2б), при этом раня и души, и мечты человеческие (п1). Позже, в 60-е, эта тема резонансом откликнется также в ранних стихах Андрея Вознесенского, потому что *рощи и людей* продолжают рубить под корень (п2б):

*Болела роща от порубок,  
Душа — от раненой мечты.  
[Поздней осенью. Север 1990: 40-41]*

Но каждой поэтической натуре так хочется уйти от дискомфорта реальной жизни (п2а + п2б), хотя, увы, это никому не удается (п1):

*А мы всё шли, всё дальше, дальше,  
Среди кустов и дряблых пней,  
Стремясь уйти от шумной фальши,  
Дыша свободней, но больней.  
... Присел ты, мрачный, на обрубок  
Червями съеденного пня...  
Стонала роща от порубок,  
Душа — от судного огня...  
[Там же]*

Диссонансом в этом поэтическом ряду может показаться стихотворение, которое хотелось бы также упомянуть в контексте нашей темы – это *Насмешка короля*, 1911 года. Сти-

хотовение куртуазное, манерное, типично по-северянински искусственное (п2а), однако – в предчувствии революционных событий (п2б) – по-своему пророческое (п1). Ведь русскому царю придется отрекаться от престола, и это будет не первый случай в российской истории, полной бунтов, смут, кровавых междуусобиц.

В стихотворении умирающий монарх решает не передавать свою власть по наследству сыну, а отдать ее, если не всем, так *многим*:

*И только он умолк — в разнуданности дикой  
Взревели голоса, сверкнули палаши.  
И вскоре не было у ложа ни души, —  
Лишь двадцать мертвых тел лежало  
пред владыкой.*

*[Насмешка короля. Север 1990: 54]*

В подобном водовороте истории, пожалуй, лучше до конца своих дней оставаться *дачником* (п2а), в стороне от кровавых дел (п2б):

*Дни розни партийной для нас безотрадны, —  
Дни мелких, ничтожных страстей...  
Мы так неуместны, мы так невпопадны  
Среди озверелых людей.  
[Поэза строгой точности. Север 1990: 126-127]*

До переломного момента в жизни И. Северянина, 1918 года, осталось еще несколько лет, и его поэтическая слава в России казалась немоверной. Но он эту шумную славу презирает (п2а + п2б):

*Из меня хотели сделать торгаша,  
Но торгаществу противилась душа.  
[Поэза «его» моего. Север 1990: 157]*

Северянин выигрывает все *поэтические турниры*, его коронует королем поэтов сам Валерий Брюсов. Его, а не, к примеру, Владимира Маяковского, постоянного соперника в таких состязаниях и сотоварища в утомительном турне по России. Турне организовали, объединившись, футуристы, и Игорь Северянин, при всей своей демонстративной позиции эго-одиночки, называл себя так же.

О натянутых отношениях поэтов-соперников всем известно (Северянин о Вл. Маяковском – см., в частности, его же стихотворение *Крымская трагикомедия* [Север 1990: 69-71]), однако мало кто знает то, что Маяковский всю жизнь любил цитировать вслух стихи Северянина, написанные в 1912 году, в этом турне. Стихи, которые удивительно точно передавали ощущение бродячей жизни на колесах, вечного постыдного безденежья и униженного состояния в России поэтов (чьи имена станут потом гордостью русской литературы).

Любимое стихотворение Маяковского приведем полностью, тем более что оно представляет нам также характерную жанровую зарисовку предреволюционной России:

*Сегодня я плакал: хотелось сирени, —  
В природе теперь благодать!*

Но в поезде надо, — и не было денег, —  
И нечего было продать.  
Я чувствовал, поле опять изумрудно,  
И лютики в поле цветут...  
Занять же так стыдно, занять же так трудно,  
А ноги сто верст не пройдут.  
Гулять же по городу — видеть автобус,  
Лицо проститутки, трамвай...  
Но это же гадость! Тогда я взял глобус  
И, в грезах, поехал в Китай.  
[CARTE-POSTALE (фр. Почтовая открытка).  
Север 1990: 58]

Знаменательно и выраженное в стихотворных строках решение поэта, к которому охотно присоединялся с чувством цитировавший данные строки Маяковский, уехать из этой страны (русская интеллигентия обычно в таком случае и таком контексте добавляет: *Богом проклятой страны* или *Rossии*) куда-нибудь подальше (п2б) – например, *поехать в Китай*, хотя бы в грезах (п1). Почему так хочется уехать из нее куда угодно? На этот вопрос Игорь Северянин сам отвечает в других строках, помеченных тем же годом (п2а):

Я сам себе боюсь признаться,  
Что я живу в такой стране, [...] —  
Где блеск и звон карьеры — рубль,  
А паспорт разума — диплом;  
Где декадентом назван Врубель  
За то, что гений — не в былом!..  
Я — волк, а критика — облава!  
[Поэзия вне абонемента. Север 1990: 63]

Стихи носят, как обычно для поэта, остро сатирический и явно эпатажный характер и потому завершаются соответствующей тирадой, рассчитанной на бурную – чаще всего негативную – реакцию зрительного зала (п2б + п1):

Но я крылат! И за Атлант —  
Настанет день — польется лава —  
Моя двусмысленная слава  
И недвусмысленный талант!  
[Там же]

Свою двусмысленную славу поэт презирает так же, как пеструю публику поэзоконцертов и турниров словоборчества (п2б), на которых рядом с ним раскрывают рты стиха титаны и кроты (п2а). [Самогимн. Север 1990: 62]

Но наступает год 1914-й, а затем год 1917-й. Первая мировая война. Революция. Россия захлебывается в кровавом мятеже. И было бы неверно считать, что эти страшные события не нашли отражения в творчестве Игоря Северянина, а так и остались для него за *струнной изгородью лиры* (п2а).

Достаточно вспомнить стихотворения, датированные 1914 года, – в них такие страшные слова (п2б), как:

Вчера Земля сошла с ума...  
[Умалишенная. Север 1990: 74-75],

или строки о сознательном отказе от кровопролития (п2б) –

Я превозмог порывы гнева:  
Убив другого — я убит...  
[Стихи в ненастный день. Север 1990: 76-77].

А вот строфа, датированная 1915 годом (п2а):

Это страшно — все одно и то же:  
Разговоры, колкости, обеды,  
Зеленщик, прогулка, море, сон,  
Граммофон, тоска, соседей рожи,  
Почта, телеграммы про победы,  
И в саду все тот же самый клен.  
[Это страшно. Север 1990: 95].

И стихотворный диалог 1916 года (п2а):

— Все соседи сражаются,  
Не воюем лишь мы.  
— Но у нас, слава Господу,  
Все здоровы умы...  
[Любопытство Эклерезиты. Север 1990: 110-111]

(Воюющей Европе поэт противопоставляет свою иллюзорную *Миррэлию*, в которой люди настолько мудры, что отказываются воевать и ссориться с соседями)

*Стихи в ненастный день*, за которые Северянин склоняли в прессе, как до 1917-го года, так и после него, были, собственно, ответом самому себе, на написанные в 1914-м такие нескромные строки (п2б + п1): Я – ваш любимый, ваш единственный – // Я поведу вас на Берлин! Всеобщая эйфория воинствующего «русского духа» в первые дни войны 1914-го года сопоставимы аналогичной эйфорией, искусственно подогревавшейся в советский период против потенциального врага-агрессора (п1) – прежде всего против Германии (в память о двух пережитых войнах), а также против США (страны, которую нужно догнать и перегнать, в первую очередь в гонке вооружения). Та же модель искусственно актуализирована – чтобы не сказать «реанимирована» – в последнее десятилетие (п2а + п2б).

Итак, даже Игорь Северянин поддался всеобщей истерике патриотического психоза, навязываемой и в печати и в пламенных публичных выступлениях политических деятелей. Потом поэт испытывал по этому поводу острое чувство стыда, результатом которого и стало стихотворение, написанное в *ненастный день*. К этой же теме Северянин вновь возвращается, но уже в другом стихотворении:

Не поняты моей страной  
Стихи «В ненастный день». [...] —  
Не тронута моей страной  
Осталась рабская порода.  
Зерно, посевяное в зной,  
Не принесло тогда приплода,  
Что для морального урода  
Призыв к любви? урод — как пень...  
[Баллада XIII. Север 1990: 120-121]

Для поэзии Игоря Северянина, влюбленного в простоту деревенского быта, в наивность незамысловатых человеческих отношений (о чем им написано множество стихотворений), так неожиданно прозвучит в 1917 году: *рабская порода – народа, народ – урод – как пень...* (п2а + п2б) А ведь совсем скоро, уже через каких-нибудь несколько лет, вслед за Северянином, опальным, и другой большой русский поэт, Борис Пастернак, срифмует абсурдное, эпохально пророческое: *родина – уродина* (п2а). *Уродливая Россия. В рождающийся народ.* Чтобы бросить такие обвинения собственной стране, как это сделали два Поэта, необходимо ощущать себя *вне ее и над тем*, что в ней творится (п2б). Следует постичь свою *несопричастность* (п2б) тому, что происходит в России по жестокой воле очередного паяца (п2а).

Но тот же Игорь Северянин, в том же самом 1917-м, писал и такие строки (п1 + п2б):

*Да, верю я, наперекор стихии,  
Что вал растет, вздывающий волну,  
Которая всё-всё сольет в одну,  
А потому — я верю в жизнь России!*  
[Поэза последней надежды. Север 1990: 128-129]

Снова мы сталкиваемся с двойственными порывами его мятущейся души. Россию ему трудно любить, такую, какой она есть. И возненавидеть ее он не может, как не может оставаться равнодушным к тому, что в ней происходит (п2а + п1):

*Ночами, в бессонницу, мне  
Мучительно думать о горе народа,  
О жутком, — о близком к нам, — дне.*  
[Поэза скорбного утешения. Север 1990: 131]

Пророчески звучит также его, упомянутое выше, страшное стихотворение 1918 г., *По этапу*. [Север 1990: 134]

За *странным тяготением к хамству* (п2б) одураченной толпы, за ее *восторгами перед силой грубой*, а также за собственными наблюдением того, как *человек весь стервенеет без закона* (п2б), в самый разгар революционных событий поэт делает парадоксальный вывод:

*Не люди — люди, или я —  
Не человек, раз люди — люди!*  
[Поэза моих наблюдений. Север 1990: 143]

Но это уже взгляд со стороны — Игорь Северянин теперь стал вынужденным эмигрантом (п2а). На родину ему не суждено вернуться (п1; со знаком «минус»). Можно только всю оставшую жизнь пристально и пристрастно следить — из-за границ — за тем, что там, в *н у т р и*, происходит (п2а).

Поэт наивно пытается достучаться стихотворной строкой до разума, или коллективного безумия, большевиков:

*Правительство, когда не чтит поэта  
Великого, не чтит себя само  
И на себя накладывает вето  
К признанию и срамное клеймо.*  
[Поэза правительству. Север 1990: 147]

Тщетно... Он и сам оказывается беспомощным здесь, за пределами родины (п2б), —

*В этой маленькой русской колонии,  
Здесь спасающей от беззакония  
Свои бренные дух и тела..., где  
Ищут все лишь еды и тепла.*  
[Поэза для беженцев. Север 1990: 153]

Образованным людям опять стыдно (п2а), снова им даже *не у кого занять*.

В руки Игоря Северянина время от времени, правда, попадает провинциальная пресса (п2а), однако и в ней можно найти информацию о *громах и молниях проклятых дней* (п2б):

*Из тусклой ревельской газеты,  
Тенденциозной и сухой,  
Как вы, военные галеты,  
А следовательно — плохой,  
Я узнаю о том, что в мире  
Идет по-прежнему вражда,  
Что позабыл весь мир о мире  
Надолго или навсегда...*  
И тогда поэт напишет:  
*И вот читаю в результате,  
Что арестован Сологуб...  
Что умер Леонид Андреев,  
Испив свой кубок не до дна...  
Что Собинов погиб от тифа  
Нелепейшую из смертей...  
что вечно юный старец Репин  
В Финляндии...*  
[Поэза душевной боли. Север 1990: 155-156]

Теперь Россия для него — это цепь трагичных кончин великих поэтов (п2а + п1; со знаком «минус»). Умирает Александр Блок, с которым, собственно, Северянин никогда не был особенно близок:

*Теперь пережить мне дано  
Кончину еще одного  
Собрата — гиганта. О Русь  
Согбенная! горбь, еще горбь  
Болящую спину. Кого  
Теряешь ты ныне? Боюсь,  
Не слишком ли многое! Но  
Удел твой — победная скорбь.*  
[На смерть Александра Блока. Север 1990: 171]

Расстрелян Николай Гумилев. Об этом шепчутся в России (п2а) и как-то сразу узнают за границей (п2б). В связи с этим на Игоря Северянина вновь нахлынули воспоминания и горечь невосполнимых утрат (п2а + п2б):

*Я Гумилеву отдавал визит,  
Когда он жил с Ахматовою в Царском,  
В большом прохладном тихом доме барском  
Хранившем свой патриархальный быт. [...]*

Не знал поэт, что смерть уже грозит  
Не где-нибудь в лесу Мадагаскарском  
Не в удушающем песке Сахарском,  
А в Петербурге, где он был убит.  
[Перед войной. Север 1990: 178]

Той же теме трагичных смертей (п2а) посвящены и такие стихотворения, как Сологуб, Гумилев, воспоминаниям о милом литературном прошлом России – стихотворения Гоголь, Фет, Фофанов [Север 1990: 194, 196, 190, 191, 192.] Особенно резко на общем поминальном фоне (п2б) звучат следующие строки:

И не трагично ль утомленным векам  
Смежиться перед хамствующим веком,  
Что мелким бесом вертится у ног?..  
[Сологуб. Север 1990: 193]

Это для России настал хамствующий век, это там, в ней, все катится в тартарары, идет кувырком (п2б), мелким бесом вертится у ног нового царствующего паяца. Поэту Северянину родная когда-то страна, утраченная, увы, навсегда, отвела роль не только пассивного, но и бессильного зрителя, созерцателя со стороны (п2а):

Вселенная — театр. Россия — это сцена.  
Европа — ярусы. Прибалтика — партер.  
Америка — «раек». Трагедия — «Гангрена».  
Актеры — мертвцы. Антихрист их премьер.  
О зритель, трепещи! от бешеных животных,  
Ужасных в ярости, от мертвцев бесплотных  
И смертью веющих — преградой лишь барьер.  
[Сонет. Север 1990: 162]

Граница, преограда-барьер, жестоко отрезавшая Северянина от этого мира (п2б), одновременно стала для него, поэта, спасительной гранью (п2а). Ведь из-за страшной черты, которую ему самому не преступить, грозно веет смертью. Ему самому этой смерти дано избежать (Он умрет 20 декабря 1941 года. Игорь Северянин умрет в год начала для России второй мировой войны и, по иронии судьбы, в канун очередного дня рождения человека, ставшего для его любимой родины кровавым тираном. День рождения И. Сталина праздновался в стране 21 декабря). Но северянинское сердце всегда оставалось в России (п1):

Ты потерял свою Россию...  
Россию нужно заслужить!  
[Что нужно знать? Север 1990: 182]

О русской эмиграции им написано и другое (п1: п2б → п2а):

Вернуться в дом Россия ищет троп...  
[Классические розы. Север 1990: 180]

А, может быть, это сама Россия (п2б) хочет «вернуться»? Вернуться туда, откуда ее изгнали, к тому, чего ее насильственно лишили, – к своим истокам, к своей культуре (п2а), к критическому разуму старой русской интеллигенции?

И в стихотворении 1927 года эта больная для поэта тема звучит особенно остро, что подчеркнуто самим названием «Не более чем сон» (п1):

Мне удивительный вчера приснился сон:  
Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока.  
Лошадка тихо шла. Шуршало колесо.  
И слезы капали. И вился русый локон...  
И больше ничего мой сон не содержал...  
Но, потрясенный им, взволнованный глубоко,  
Весь день я думаю, встревоженно дрожа,  
О странной девушке, не позабывшей Блока...  
[Не более чем сон. Север 1990: 199]

Россия ему, большому русскому поэту Игорю Северянину, могла уже только сниться, хотя, как он считал, ...не дело для поэта годами жить без родины своей... Все это он особенно горько выразит в маленьком стихотворении, 1928 года, о бесполезности попытки бегства – бегства в никуда и отсутствии стимула продолжать жить (п1: п2а + п2б):

Мне хочется уйти куда-то,  
В глаза кому-то посмотреть,  
Уйти из дома без возврата  
И там — там где-то — умереть.  
Кому-то что-то о поэте  
Слюют весною соловьи.  
Чего-то нет на этом свете,  
Что мне сказали бы: «Живи!...»  
[Чего-то нет... Север 1990: 107]

Но, в отличие от многих своих соотечественников, представителей творческой интеллигенции того же поколения, Игорю Северянину «повезет»: он умрет своей смертью в собственном своем доме, на своей постели (п2а). Пусть даже умрет он не таким уж старым, но зато его не постигнет судьба С. Есенина и Вл. Маяковского, Н. Гумилева и М. Цветаевой, Д. Хармса и О. Мандельштама, А. Ахматовой и многих-многих других (п2б). Не всем ли им посвящено стареющим Северянином стихотворение, написанное в октябре 1935 года, в Таллинне? То ли это эмоциональный выплеск накопившегося негодования (п2б), то ли славившая сердце многолетняя боль, за себя и других (п2а):

Летиши в экспрессе — жди крушенья!  
Ткань доткана — что ж, в клочья рви!  
Нет творчества без разрушенья —  
Без ненависти нет любви.  
Познал восторг — познай страданье.  
Раз я меняюсь — я живу.  
Застыть пристойно изваянью,  
А не живому существу!  
[Гармония контрастов. Север 1990: 114]

Его тело не окажется брошенным где-то на безымянном пустыре либо закопанным в горах мусора на какой-нибудь свалке, а будет похоронено со скромными почестями в чужом краю, который, впрочем, всегда был сердцу поэта особенно дорог (п2а + п1). Нет, его не положат

в гроб фарфоровый на ткань снежинок яблоневых, ...под искры музыки оркестровой, под вздох изнеженной малины, как когда-то, в далеком 1910-м, писал в стихах «Мои похороны» (п1). И в этом декабре 1941-го года не будет всем весело и солнечно (п2б) от того, что осветит лица милосердье... Не сбылась, конечно, и мечта о площади в Москве, имени поэта, где когда-нибудь (п1) ...моя держава Мне на чугунную главу Венок возложит величаво!

Однако в последний путь Игоря Северянина – больную совесть прежней, навсегда утраченной России – проводят немногие близкие поэту люди. И, может быть, когда-нибудь сбудутся пророческие слова, написанные русским поэтом в 1925 году, в стихотворении, названным им «Народный суд» (п1):

Я чувствую, близится судное время:  
Бездушье мы духом свои победим,  
И в сердце России пред странами всеми  
Народом народ будет грозно судим.  
И спросят избранники – русские люди –  
У всех обвиняемых русских людей,  
За что умертвили они в самосуде  
Цвет яркой культуры отчизны своей...  
[Из сб. Классические розы. Север. 1922-1930 гг.]

В то же время Северянин понимал, что бы услышал в ответ: *И скажут они: «Мы обмануты были, // Мы верили в то, во что верить нельзя...»* [Там же.] В 1925-м году много стихотворных строк посвятил он поэтому раздумьям о далекой России, и эти раздумья были для него тяжелы, как камни, время собирать которые ему пришло:

Гой ты, царство балагана!  
Ты, сплошная карусель!  
Злою волей хулигана  
Кровь хлебаешь, как кисель...  
Целый мир тебе дивится,  
Все не может разгадать:  
Ты – гулящая девица  
Или Божья благодать?  
[Там же: Кто же ты?]

Здесь царство балагана (п2б), т. е. «цирк да и только», значимо как «форма государства» (того самого, которым управляет паяц). Восклицание сплошная карусель (п2б) ассоциируется с бесконечно повторяемым, беспорядочным, лишенным смысла и логики, хождением по замкнутому кругу (п2а) новейшей российской истории. Но также – с механизмом кружения на одном месте и вызыванием головокружения, с искусственным праздником для наивного темного люда (п2а). И даже, в современном ассоциативном контексте России, – с лексикой тюремно-лагерного жаргона (п2а). См.: *Динамо, динама* – 1. Мошенничество. 2. Ложь, обман. *Динамо крутить, двигать* – 1. Лгать, обманы-

вать. 2. Утаивать от сообщников часть краденного. 3. Не платить, не отдавать долги. 4. Действия проститутки, вводящей мужчину в расходы и затем внезапно скрывшейся, улизнувшей.

А это уже о кровавых сталинских репрессиях (п2а + п2б): *Злою волей хулигана // Кровь хлебаешь, как кисель...* Но, в надежде на царскую милость и прощение того же самого хулигана (п1), в августе 1940-го года в Нарве, в газете «Советская деревня», Игорь Северянин опубликует самое нелепое в своей жизни стихотворение, «Наш праздник», в честь того, что СССР присоединил к себе прибалтийские страны (п2б + п2а):

Взвивается красное знамя  
Душою свободных времен.  
Ведь все, во что верилось нами,  
Свершилось, как сбывашийся сон.  
Мы слышим в восторженном гуле  
Трех новых взъявленных стран:  
- Мы к стану рабочих примкнули,  
Примкнули мы к стану крестьян.  
Наш дух навсегда овеченен.  
Мы верим в любви торжество.  
Бессмертный да здравствует Ленин  
И Сталин – преемник его!

Желанного «прощения» старик-изгнаник из Кремля так и не дождался (п2б). И потому голос умирающего как будто бы замер на пронзительной ноте 1925-го года (п2а):

Была у тебя страна,  
И был у тебя свой дом,  
Где ты со своей семьей/  
Лелеял побеги роз...

[Отечества лишенный. Из сб. Классические розы. Север. 1922-1930 гг.]

Наверное, и сейчас немало найдется таких, кто хотел бы оспорить справедливую и мудрую мысль (п1) Игоря Северянина, большого русского поэта и «дачника», волей рокового стечения исторических обстоятельств, с 1918-го года:

Москва вчера не понимала,  
Но завтра, верь, поймет Москва:  
Родиться Русским - слишком мало,  
Чтоб русские иметь права...  
[Предгнездье. Там же]

#### ЛИТЕРАТУРА

Северянин И. Ананасы в шампанском. Поэзы. – М., 1915.

Северянин И. Избранное. – М., 1999.

Северянин И. Стихотворения. – М., 1988.

Северянин И. Стихотворения. – М., 1990.

Северянин И. Стихотворения. – Таллин, 1988.

Северянин И. Тост безответный: Стихотворения. Поэмы. Проза – М., 1999.

© Надель-Червильская М., 2009